

Карпов В. В.

О ВОЙНЕ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Мне кажется, будет правильно и справедливо, если мы начнем наш разговор об истоках мужества с первого дня войны. С того дня, который никогда не забудет наше поколение. Кажется, до сих пор слышу я гул и тревожное зловещее эхо большой беды, которая обрушилась тогда на нашу землю. Я говорю о 22 июне 1941 года.

Мало кто уцелел из пограничников, из воинов, которые находились в тот день на границе. Огромные силы врага неожиданно обрушились на них в тот день. Но пограничники не дрогнули, стояли насмерть, бились до последнего. А потом была большая война, в которой пограничники тоже участвовали. Они служили в воинских частях, отходили вместе с этими частями и, освобождая советскую землю, с победой шли на запад, изгоняя врагов не только с родной земли, но и из многих стран Европы. Несмотря на огромные трудности, на множество опасностей, все же остались живы и по сей день участники тех далеких теперь боев 22 июня. Мне давно хотелось поговорить с одним из них, узнать, как тогда, в тот день, находили они в себе силы противостоять такой огромной фашистской армии, ринувшейся на территорию нашей страны. И вообще, в чем источник мужества, проявленного ими в самые трудные дни военного лихолетья. И вот я нашел одного из тех, кто был 22 июня 1941 года в траншее, на границе, и первым встречал фашистов. Фамилия его **Гоманков**, зовут **Иван Прокофьевич**. Мне казалось, что будет интереснее и для меня, и для него поехать туда, на границу, на место боев, и там послушать рассказ Ивана Прокофьевича. Гоманков прихватил с собой планшетку, обещал показать интересные бумаги по ходу рассказа.

Мы сели в поезд и поехали в город Гродно.

Смотрим мы с Гоманковым на проплывающие за окном вагона поля и вспоминаем войну: именно здесь нам обоим довелось участвовать в боях. Но особенно ярко мне запомнились дни, когда мы возвращались с Победой.

Кончилась война, эшелоны мчали нас домой, на Родину! Мне казалось тогда – время остановилось, солнце не заходило, не было ночей – только яркий солнечный день. Наверное, так было от улыбок и приветного сияния глаз, которыми всюду встречали нас, фронтовиков, соотечественники. Женщины, старики, дети были худые, в недоношенной нами военной одежде, пострадали люди, но глаза их сияли настоящим счастьем.

Было в те дни и такое: когда поезд несся по открытому, искореженному войной полю, вдруг обдавал лицо полынно-горьковатый ветер. Я выглядывал из вагона с недоумением: откуда весной полынь? Оказывается, горький запах этот шел от черных

пепелищ деревень и городов. Скорбно тянулись к небу печные трубы, похожие на могильные кресты над бывшими здесь когда-то домашними очагами, над жившими когда-то здесь людьми.

Горький запах сжимал сердце, омрачал душу. Победу мы одержали, но сколько надо сил, чтобы возродить эти села и города, оживить истерзанную землю! Когда мы все заново, отстроим и наладим нормальную жизнь? Казалось, все отдано войне, нет уж ни средств, ни возможности для такой титанической работы.

Ломать, разрушать легче и быстрее, чем строить – это давно известно. Война четыре года крушила и жгла нашу прерванную стройку, била ее снарядами, бомбами, палила огнем. А полем боя была земля от западной границы до Волги...

Недруги наши радовались: на сто лет минимум остановлено, отброшено назад строительство социализма. А партия сказала: нет, при нашем трудолюбии, при возможностях, которые открывает социалистический строй, мы все восстановим за пять – десять лет и двинемся дальше. Партия нашла силы, объединила, вдохновила и повела народ за собой на великое восстановление. Да, это было великое восстановление после великой войны. Это был еще один новый, теперь уже трудовой подвиг советского народа.

В дни перестройки как-то все пишущие, оглядываясь назад, видят только ошибки, беды, преступления. Никто не вспомнил эти вот тяжкие, полуголодные дни восстановления жизни из разрухи, причиненной войной. Да, было очень нелегко, всего не хватало, но народ все перенес, преодолел! Как же можно об этом сегодня забывать? Встали рядом фронтовики и труженики тыла. Разве может быть что-либо не по плечу этой великой силе? Нет таких трудностей и преград! И воскресла, задышала ровным могучим дыханием земля, поднялись, восстали из пепла новые, более прекрасные, чем прежде, города и поселки, осветили Отчизну ярким светом новые мощные электростанции. Как салюты трудовым и научным победам, взлетали в небо космические ракеты и корабли. Мы сами, участники и очевидцы всего содеянного в эти послевоенные годы, видели это чудо возрождения. Живы – катят в "Жигулях" и "Москвичах", смотрят цветные телевизоры те, кто встречал нас когда-то в поношенных ватниках и стоптанных кирзачах.

В общем, есть нам о чем вспомнить, глядя на эти земли. Но я не желал, чтобы Гоманков начал делиться воспоминаниями в поезде. Мне хотелось послушать его именно на границе, там, где он вел первый бой. Я схитрил и предложил Гоманкову:

– Хотите, Иван Прокофьевич, расскажу, как я встречал Новый год где-то здесь, на белорусском поле?

– Расскажите. Новогодние рассказы всегда интересны, – согласился Гоманков.

Мы сели в своем купе к маленькому столику, накрытому белой салфеткой, соседей у нас не оказалось, ехали вдвоем, и я начал рассказ:

– Наверное, в штабе при разработке плана этого боя была продумана сотня вариантов, но, как часто бывает на войне, обстановка сложилась по сто первому, который никем не предусматривался.

Я, командир взвода, лейтенант, при выработке решения, конечно, в штабе не присутствовал, однако, когда ротный командир отдал нам вечером приказ об атаке "под покровом темноты", я сразу понял: это новогодний сюрприз для фашистов. У нас нет сил для большого наступления; вчера я водил свой взвод мыться в бане-землянке и не видел в тылах ни свежих частей, ни артиллерии, которые обычно накапливаются перед большим "сабантуем". Значит, решили своими силами неожиданной атакой выбить гитлеровцев из обжитых окопов и блиндажей, пусть Новый год встречают в открытом поле, пусть их русский морозец просолит инеем до костей, а поземка укроет белым саваном.

Так, наверное, предполагали. А получилось иначе... Из первой траншеи мы гитлеровцев выбили, а вот перед второй они нас положили сильнейшим огнем пулеметов и артиллерией.

Теперь надо подождать, пока наши "боги войны" хорошо пристреляются по новым огневым точкам, и после артналета, в зависимости от того, какой будет приказ, мы или рванем вперед, или уползем назад в недавно отбитую у немцев траншею. В общем, надо ждать, командир роты так и передал по цепи: "Не рыпаться до артналета!"

А что будет раньше – Новый год или артналет? Я гляжу на часы – без сорока минут двенадцать. Мины и снаряды вскидываются то с боков, то позади. Пулеметы чешут над головой. "Доживу ли я до сорок третьего года?"

Лежу я в свежей воронке на ее крутом скате, поджимаю ноги, потому что на дне воронки накапливается вода, место здесь болотистое. Когда этой воды наберется больше половины воронки, меня выжмет под пули, не стану же я лежать в ледяной воде. Вода набирается медленно, до артналета она, пожалуй, меня не вытеснит.

Земля подо мной мягкая, скаты воронки не успели промерзнуть. Еще не выветрилось, пахнет гарью после взрыва. Через этот запах гари пробивается и теплый натуральный дух земли. Какому-нибудь сельскому жителю такая свежая земля напомнит весеннюю пахоту, а я городской, не приходилось мне бывать на пашне. Только на фронте узнал я запах земли. Этот запах напоминает мне одиночные и братские могилы. Я знаю, земля – наша кормилица и поилица, и я люблю ее такой, но вот запах ее, свежевыврытой, напоминает мне только могилы. Не обижайтесь на меня, люди, возделывающие землю, не обижайтесь те, кто поднимал целый материк целины, для вас этот запах самый желанный. Не обижайтесь на мою откровенность – моя молодость прошла в боях, в окопах, в блиндажах. Я клал в могилы своих боевых друзей – Костю Камилевича под Москвой, Ваню Казакова в землю

белорусскую, Женю Почандо в немецкую, я бросал в их могилы прощальную горсть, надеясь за все отомстить врагу...

Но есть у меня и незабвенное, и не только у меня, а у всего моего поколения – запах свежевырытой земли неотделим для нас от запаха войны.

...Лежу я в воронке, черный конус ее окаймлен серым снегом, он неглубокий, смерзшийся в твердую корку. Надо мной черное небо. На черном небе тоже одна воронка, как от снаряда, – это луна, окаймленная широким морозным кругом. Облака на небе похожи на снежные сугробы, а звезды – на колючки заиндевелого проволочного ограждения.

Сейчас самое трудное позади. Я почти спокоен. Огляделся, окликнул своих бойцов, они по воронкам засели. Ждут. Отдыхают. Для них тоже самое трудное позади. Самое трудное – это вылезти из траншеи и бежать на автоматы и пулеметы немцев, падать от близких разрывов мин и снарядов, вскакивать и опять нестись среди чудом не попавших в тебя жужжащих и щелкающих пуль. Бежать скорее вперед, будто там спасение, а там ведь рукопашная. Почему люди так спешат туда, вперед, навстречу возможной смерти? Я не раз думал об этом. Проще всего это объясняют в кино – жажда подвига! Она сильнее смерти. Но это только в кино. Мне всегда как-то неловко видеть на экране красивые жесты, позы, слышать возвышенные слова во время атаки. Стыдно за тех, кто все это так показывает. Стыдно перед фронтовиками, которые погибли: они не были позерами, в их делах не было фальши, они умирали без рисовки, умирали просто и горько. Им хотелось жить. Затухающим сознанием они еще надеялись, наверное, что это лишь ранение.

Они не говорили громких слов, они делали большие дела. Каждый шел в атаку, надеясь остаться живым. Каждый видел, за что умирали его товарищи, – они падали в бою, словно прикрывали собой освобожденную землю. Это и есть героизм – отдать жизнь за Родину. Отдать самое дорогое, отпущенное только тебе, на одного, только раз, необратимое. Как это величественно: человек отдает самое дорогое ради счастья других и как это жестоко, что люди пока не могут избавиться от необходимости такой жертвы!

Люди бегут в атаке не для того, чтобы побыстрее свершить подвиг, а чтобы побыстрее преодолеть зону губительного металла. Сразить человека – достаточно одной пули, одной железной капли. Тяжело выскакивать из траншеи под такой "дождь". Теперь это позади... до следующей атаки. Можно передохнуть в воронке.

Говорят, снаряды не попадают в старые воронки. Мне тоже хочется в это верить. Но это придумали люди штатские. Я-то, военный, знаю: если бы одно орудие стреляло, тогда вторичное попадание мало вероятно. А здесь лупят сотни стволов, какая тут, к черту, теория вероятностей, тут царство теории невероятностей! И все же мы лезем в

воронку. Может, и правда, не угодит снаряд, и к тому же готовое углубление скрывает от пуль и осколков.

Полчаса до Нового года. Где-то далеко в тылу люди поздравляют сейчас друг друга, хоть и не богаты у них столы: капуста, картошка да хлеб, но по-прежнему они высказывают друг другу хорошие пожелания. В воронке я один. Мне и пожелать что-нибудь некому. Говорят, загаданное под Новый год сбывается. Что же мне загадать? "Остаться живым!" Ишь чего захотел! Сегодня и наши, и немцы, наверное, такое загадывают. Что же, все останутся живы? Ерунда. Надо загадать что-то более реальное. Что же? Взять вторую траншею? Да возьмем мы ее не сегодня, так завтра. Пожелать – учиться в институте? Дожить до свадьбы?.. Все, о чем бы я ни думал, сводилось к тому, что надо прежде победить фашистов, сделать наше большое общее дело, тогда и мое счастье станет реальным.

...Ну а когда сбудется это и мы победим, с чего бы мне хотелось начать ту послевоенную жизнь? Может, покажется нелепым и наивным, но тогда, в воронке, мечта была у меня такая, не утаю. Хотелось мне вернуться в родной Ташкент, где ждали меня мать, отец, ну и, конечно, "она" – единственная и лучшая на свете. Но после первого свидания, торопливых, суматошных поцелуев и объятий, желал я остаться один, хотел пройти в вечерней тишине по самой середине улицы Пушкина, один под электрическими лампочками. А справа и слева по тротуарам чтоб гуляли девушки в легких летних платьях и парни в наглаженных чесучовых брюках. До войны автомобилей мало было: вечером вполне можно ходить по середине дороги. Шуршали бы листья под ногами, смеялись бы девушки на скамейках, а я шел бы и вдыхал теплый воздух, в котором улавливал пряный аромат шашлыка, прилетающий от жаровен из парка Горького. Как же хорошо мы жили до войны и как мы не умели ценить свое простое счастье!

Ударил близко мина, осколки и земля брызнули надо мной. Я невольно втянул голову в воротник шинели и в это мгновение, взглянув вниз, на дно воронки, обнаружил еще один мир. Кроме того, что меня окружало на земле и что я видел в небе, у ног моих, в гладком кругляшке воды, был виден еще какой-то третий мир. Я лежал как в окуляре: черная воронка, будто резиновый круг, окаймляла большую прозрачную линзу. Опустился ниже, к этой линзе, и заглянул в нее. Будто в сказке я увидел то, о чем мечтал: высокое вечернее небо, луну, яркие звезды и легкие облака. Там, в этом мире, была тишина: ни взрывов, ни трассирующих пуль. Мне показалось, где-то рядом, загляни я чуть вбок – появится улица Пушкина и вечерняя публика. Я склонился над водой, пытаюсь взглянуть за кромку, и вдруг оттуда, из-под земли, мне навстречу высунулся черноликий призрак. Сердце у меня забилось испуганно и гулко. Конечно, я понял, что увидел свое отражение, и все же было жутковато и как-то не хотелось видеть себя в том прекрасном "до" или "послевоенном" мире таким черным,

похожим на труп. Может быть, это для меня новогоднее предсказание – быть мне убитым?

Захотелось побыстрее рассмотреть, какой я там, в отражении: живой или мертвый? Суеверный страх охватил меня, я даже не подумал о том, что увижу себя в воде таким, какой есть. Осторожно и опасливо заглянул в зеркало воды... И тут же ощутил, как волосы зашевелились у меня под шапкой-ушанкой, показалось даже, что волосы приподняли шапку. То, что я увидел в воде, оледенило кровь в моих жилах. Все миры: в небе, под землей и тот, что за воронкой, на поверхности, – все эти миры мгновенно вылетели из моего сознания – в воде я увидел каску немца, который заглядывал в воронку. Он принимал меня за убитого. Лежал я в неудобном положении – вниз головой, поэтому казался мертвым. Я выстрелил первым... и не промахнулся. Я метнулся наверх. Нет ли там других фашистов? В стороне отстреливались от нескольких ползающих во мраке фигур солдаты моего взвода. Я помог им огнем из автомата. Но вскоре пулеметные очереди и близкие взрывы мин опять загнали меня в глубь воронки. Я посмотрел на часы, было пять минут сорок третьего года. Чуть-чуть мое новогоднее гаданье не сбылось! Еще бы миг, и сделал бы фашист меня трупом, таким, каким "выглядывал" я из-под земли, там, в воде. Ах, гад, как же ты осторожно подобрался! Наверное, за трофеями, за часами, сапогами полез, или жрать нечего, на наши продукты польстился, думал, перебили нас всех во время атаки.

Внутренняя дрожь еще не улеглась во мне, на нее набегала другая волна – волна радостной взволнованности. Если такое пронесло, – значит, жив буду! Не стану далеко загадывать, а уж в этом бою уцелею. Да, неплохой я сделал себе новогодний подарочек – всего-навсего жизнь!

Мне опять захотелось заглянуть через линзу на дне воронки в летний мир моей мечты, в сказочное и желанное "после войны".

Я склонился над водой, но увидел там какие-то движущиеся длинные полосы, похожие на водоросли. Они замутили воду. Не было не потустороннего мира, ни луны, ни звезд, ни неба. Что это? Откуда это? Ах, фашист проклятый, даже мечту испачкал своей кровью. Ну кто ты? Ведь был же ты кем-то до того, как я тебя убил. Что ты загадывал несколько минут назад? Остаться живым? Вернуться к своей Гретхен? Уж, конечно, о смерти ты не думал, и напрасно: тот, кто ступил врагом на землю нашу, прежде всего должен подумать о смерти!

Вторую траншею мы взяли в двенадцать часов семнадцать минут. Хоть и сложился бой по сто первому варианту, который никто не предусматривал, – все равно мы победили... На этом я закончил рассказ.

...На следующий день, утром, мы с Гоманковым приехали в Гродно. Обратились в пограничный отряд. Я рассказал пограничникам о нашем намерении. Нам разрешили выехать на границу и даже любезно отвезли на машине до заставы.

И вот мы на границе. Мы шли вдоль пограничной реки Неман и искали окоп, в котором находился Иван Прокофьевич 22 июня. Была ранняя весна. Снег сошел, обнажив прошлогоднюю бурую траву, ночные заморозки подбеливали ее седым инеем. Прошло много лет, местность изменилась. Состарились, отжили свой век одни деревья, выросли другие. Окопы осыпались, некоторые почти совсем затянуло землей. Иван Прокофьевич внимательно вглядывался в берег Немана и наконец остановился. Окоп был старый, уже потерявший форму, с осыпавшимися краями, заросшими травой. Иван Прокофьевич спустился в него и безмолвно смотрел на пограничную реку, на противоположный берег. Я стоял рядом и наблюдал за его лицом. Оно было не просто серьезное, а какое-то отрешенное. Он не видел сейчас ни меня, ни тех, кто был с нами рядом. Он мысленно ушел туда – далеко, в 41-й, – и слышал, наверное, выстрелы, крики, гром боя, бомбежку, видел лица своих боевых друзей. Не сразу он стал рассказывать о том дне, и я не торопил его, понимал, что с ним сейчас происходит.

Но вот он негромко заговорил:

– Гитлеровцы плыли на лодках с того берега. Их было много. Они были возбужденные. Крикливые. И даже веселые. Мы, как и полагается, допустили их на середину реки. Когда они пересекли середину реки и стали приближаться к нашей земле, открыли огонь. У меня вот здесь, с левой стороны, были два ручных пулемета, с правой стороны тоже стоял ручной пулемет. Я никого из бойцов не знал раньше, потому что прибыл на этот участок границы 19 июня. Только успел получить ордер на квартиру. Отнес туда чемодан, оставил его в пустой комнате, и в первую ночь уже была тревога. Тогда на границе было беспокойно, все ожидали, вот-вот что-то произойдет. И я как ушел на границу, так и не вернулся. Мне было поручено командовать взводом пограничников, которых прислали из погранотряда. Я, по сути дела, их узнавал и знакомился с ними уже в бою. Мы отбили первую попытку фашистов переправиться через реку.

– Иван Прокофьевич, – спросил я, – а большие силы вас тут атаковали?

– Примерно около батальона. Спустили на воду Немана надувные лодки и после сильного артиллерийского обстрела и обработки самолетами пытались высадиться на наш берег.

Отбили мы еще несколько попыток. Опять началась обработка и с воздуха и артиллерией. Все было перемешано взрывами. Около четырех часов мы вели ожесточенный бой, не позволяя гитлеровцам высадиться на наш берег. Но силы, конечно, были неравные. Враги обошли нас с левой и с правой стороны. Высадились все-таки и стали окружать. В эти первые часы боя я был ранен в ногу. Но, пока были силы, пока я не потерял еще много крови, оставался в строю и продолжал командовать своим взводом. Ну, потом я стал терять сознание, и меня вместе с другими ранеными погрузили в машину, и машина эта была отправлена в тыл. Когда мы ехали через Гродно, город горел, его

бомбили самолеты, повсюду пылали пожары, черный дым застилал улицы. Выехали мы из города, отъехали несколько километров, как вдруг на нашу машину стал пикировать фашистский самолет. Летчик видел, что это санитарная машина. Был на ней красный крест нарисован, и все-таки он пикировал и обстреливал эту машину. Машина остановилась. Раненые, кто ползком, кто как мог, стали прятаться в кювет, а самолет сделал еще заход и все-таки поджег машину.

Видел я, как самолет снижался до бреющего полета, и летчик расстреливал идущих и бегущих по дороге женщин и детей.

Я лежал в кустах, видел все это и не мог поверить, хоть и происходило все на моих глазах. И вот именно в эти минуты мне стало страшно. Мне не было страшно, когда много врагов переправлялось через пограничную реку и лезло на нашу землю. У нас в руках было оружие, мы верили в себя и били их. Я знал, что война – дело жестокое. Но когда я увидел, как фашист расстреливает женщин и детей, вот в эту минуту я понял, что эта война будет необыкновенной и фашисты не просто враги, а изуверы.

– Иван Прокофьевич, а что дальше?

– Потом мы, раненые, старались выйти к своим. Шли лесами, болотами. Питались, ну, что можно найти в лесу: ягодами, грибами. Я сделал самодельный костыль, пользуясь которым шкандыбал, стараясь не отстать от товарищей. Они мне тоже помогали. И вот, помню, попала нам на пути речушка – приток Немана, она извивалась по лесу. Моросил небольшой дождь, и вдруг мы почувствовали запах дыма. А потом увидели огонь костров. Я послал двоих товарищей в разведку: посмотреть, кто там находится у этих костров. И вот они вернулись с радостными лицами и сообщили, что у костров составлены винтовки в козлы и там в зеленых фуражках наши пограничники. Все мы очень обрадовались и поспешили туда, к своим. Но когда подошли поближе, уже вплотную к ним, я вдруг услышал немецкую речь. И понял, что это немцы. Понял еще и потому, что форма на них была новенькая, как говорят, с иголочки, явно было – эта форма недавно взята со склада.

Я только успел крикнуть: "Диверсанты!" – и начал стрелять в фашистов. Завязалась короткая, почти рукопашная схватка. Я выстрелил в гитлеровского офицера, убил его, и в этот момент меня что-то ударило по голове, и я потерял сознание. Не помню и не знаю, сколько пролежал без сознания. Очнулся уже у ямы: такая продолговатая длинная яма, старая. Стояли мои друзья-пограничники и меня поддерживали. Смотрю, на нас уже наведены винтовки и пулеметы. Нас расстреливали. Перед самым залпом пограничник, стоящий рядом со мной, толкнул меня, и я уже вместе со всеми в грохоте выстрелов упал в ров. Пули не угодили в меня. До сих пор не знаю имени своего спасителя, того, кто толкнул меня на секунду раньше залпа. Кто-то из пограничников, из той машины, что везла

раненых, а кто – не знаю, мы были из разных подразделений. Сколько я там лежал, тоже не помню, потому что я периодически терял сознание. Когда пришел в себя – была уже ночь. На мне окровавленная гимнастерка и сверху лежит убитый товарищ. Стал я выбираться. И когда выбирался, слышал стон. Подполз к стонавшему. Шепнул ему на ухо: "Тише, немцы близко". Потом перевязал его. Осмотрел других, лежавших рядом пограничников. Но они были мертвы. Я взвалил себе на спину раненого. Это был Федя Вавилов. И стал ползти по дну рва, в сторону, подальше от этого места. Когда отполз подальше, остановился передохнуть. Кружилась голова, не было сил. Но к утру отдышался, пришел в себя.

И вот потянулись долгие мучительные дни, когда два раненых пограничника, помогая друг другу, пробирались к своим. Наши войска медленно отходили под напором превосходящих сил гитлеровцев. Войска отходили, но битва продолжалась и на территории, захваченной фашистами. Гитлеровцы надеялись захватить, поработить нашу землю, однако эта земля повсюду запылала народным гневом и ненавистью к оккупантам, всюду создавались партизанские отряды.

...Гоманков со своим товарищем Федей Вавиловым все же выбрался к своим. Он лечился в госпитале, а затем ему, как пограничнику и человеку, уже побывавшему в тылу врага, предложили направиться в партизанский отряд. Предупредили: дело абсолютно добровольное. Иван Гоманков дал согласие и был направлен в Деделовский лес, к командиру отряда Леониду. Его направили туда потому, что это были родные места Гоманкова, он знал там каждый овраг, каждую тропу, каждого жителя.

О своей жизни в партизанском отряде Гоманков рассказывал мне в лесу. Мы развели костер, сидели у этого костра, подбрасывая ветки в огонь и, не торопясь, беседовали. Он вспоминал свою боевую жизнь в партизанах. Именно здесь, у костра, я очень хорошо представлял себе, как выглядел в те дни Гоманков. Небольшого роста, в драной телогрейке, так – мужичок и мужичок. Раненый, бывший в окружении, ни у кого и в мыслях, наверное, не было, что это один из наших разведчиков...

В своем селе Гоманков должен был связаться с Григорием Павловичем Куриленко. Знал его еще с довоенных лет. Куриленко часто бывал в доме Гоманковых. Он дружил с отцом Ивана Прокофьевича. Они обсуждали сельские дела, говорили о том, как лютуют кулаки, о том, как укреплять колхоз, как бороться с этими кулаками. Не думал тогда мальчишка Иван, что когда-то ему придется с этим Куриленко, солидным человеком, вместе работать и выполнять задания.

И вот, прибыв в условленное место, Гоманков встретился с Григорием Павловичем. Куриленко повел Гоманкова в партизанский отряд. Шли долго. Куриленко, поглядывая на хромавшего Ивана, спрашивал – не устал ли? Делали привал. В середине дня пришли в

лагерь. Здесь Иван Прокофьевич познакомился с командиром отряда – Леонидом. Это была его кличка.

После знакомства и разговора о том, что нужно отряду, Леонид предложил:

– Вот мы хотим, чтобы вы вернулись в свое село Явкино, легализовались там и создали хорошую группу.

Такое предложение несколько обескуражило Ивана Гоманкова, потому что он собирался в тылу бить немцев, эшелоны пускать под откос. Он так представлял себе действия партизан. Однако Леонид ему разъяснил, что работа, которая предлагается ему, тоже очень необходима. Надо вести разведку, наблюдение за врагом, доставать продовольствие, одежду для партизан. В общем, надо обеспечивать их боевую жизнь, и это тоже опасная боевая работа. Гоманков боялся не близости немцев в такой работе, а презрительных взглядов своих односельчан. Они же не будут знать, что он работает по поручению, и вынести это презрение будет, конечно, нелегко.

Больно было смотреть на опустевшее родное село. Все сидят в хатах, лишней раз боятся выходить на улицу, потому что возможна встреча не только с немцами, а и с полицаями и с их прихвостнями. Только вошел Гоманков в родной двор, навстречу выбежала мать и с криками: "Жив, жив!" – кинулась его обнимать. Не знал Гоманков, что мать уже получила похоронку с сообщением о том, что он погиб в боях на границе. Обняла его и сестренка Вера, с радостью смотрела на него, блестя задорными глазами.

Она радовалась не только его приходу, она понимала, что не мог он, пограничник, просто так вот, как окруженец, прийти домой. Она была уверена, что его прислали. И потом, когда улеглась первая радость, когда уже на него нагляделись и поняли, убедились окончательно, что жив их Иван, она его спросила: "Ну, скажи, скажи мне, я никому ни слова. Тебя прислали? Ты со специальным заданием?"

Но он не мог признаться даже сестре. Так и остался просто раненым окруженцем. Отца дома не было. Он, оказывается, ушел добровольно в армию, пошел бить врагов и мстить за сына.

Отдохнул немного с дороги, осмотрелся Гоманков и стал подбирать себе помощников. Одного из них, как советовал командир отряда Леонид, надо было послать работать полицаем, чтобы свой глаз был там, в стае предателей.

Как говорить с людьми? Все настороженно относились друг к другу. Риск очень большой! Одно слово доноса, и не только тюрьма или лагерь, а расстрел грозил человеку.

Первым решил поговорить с Володей Шашенко, ведь учился с ним в одном классе, были друзьями. Доверяли друг другу еще тогда, до войны. Володя сильно болел, когда началась война, и поэтому его не призвали в армию и он не мог эвакуироваться. Не сразу подошел даже к такому другу Гоманков. Он последил за его домом, посмотрел, как живет Володя, и только потом назначил ему встречу. И при встрече

этой тоже заговорил не прямо, а так, что можно было его понять по-разному. И о главном спросил с двусмысленной ухмылочкой:

– Не пойдешь ли ты служить в полицию?

Шашенко презрительно посмотрел на Ивана и ответил:

– Эх ты, а еще другом считался. Правду о тебе говорят в селе, что ты дезертир.

– Вот и о тебе то же самое будут говорить, когда пойдешь работать в полицаи.

– Что же ты хочешь, чтобы не тебе одному было тяжело в таком положении, чтобы и обо мне так говорили?

Настало время говорить прямее. И Гоманков сказал:

– Для пользы дела тебе предлагаю идти в полицаи, для того, чтобы ты помогал партизанам.

Володя удивленно вскинул глаза, недоверчиво смотрел на Ивана. "Правда ли?" Боязно поверить тому, что слышал. Но, видно, парень истомился от безделья и хотелось ему бороться с врагами, поэтому после некоторого раздумья он сказал:

– Ладно, поверю я тебе, ты вроде никогда не был подлецом. Мы тут тоже хотели сами кое-что сделать. Собирались с ребятами, – хотел, видно, назвать с кем, но решил подождать. – В общем, собирались, так что есть люди и есть уже на кого опереться.

Очень приятно было услышать это Гоманкову не только потому, что теперь у него появятся помощники, но еще и потому, что его школьные друзья не сидели сложа руки и что они тоже думали, искали возможности бороться с фашистами.

Вот так постепенно начиналась работа в тылу врага. Потом Гоманков создал хорошую подпольную группу, выполнял все задания командира партизанского отряда. Но и фашисты не дремали. Видно, выследили они кого-то из них, и вот однажды, когда Гоманков пришел домой, мать бросилась к нему и плача сообщила:

– Григория Куриленко взяли, я видела, как вели его, связанного, вели по улице и били. Полицай кричал, что скоро всех партизанских пособников переловят. Григорий всех выдаст. И били и вели его дальше.

Этот провал, конечно, очень беспокоил Гоманкова. Все настороженно ждали. Но крепко держался на допросе Григорий Куриленко. Никого больше не арестовали, и группа продолжала действовать. В сентябре 1943 года пришло от партизан радостное известие: "Наши войска взяли Смоленск". А через несколько дней бои уже продвигались с востока к селению, в котором жил Гоманков. Вскоре поступил приказ командира партизанского отряда перекрыть дороги и ударить по последним подразделениям отходящих немцев.

И вот тут их били вместе партизаны и те, кто до поры скрывался, – подпольщики во главе с Гоманковым.

– В общем, дали мы им жару напоследок как следует! – сияя радостно глазами, подвел Гоманков итог своей партизанской жизни.

С приходом Красной Армии Ивана Прокофьевича охватила не только радость победы, не только радость, что фашистов изгнали, а еще и то, что он мог теперь пройти по селу открыто, глядя людям в глаза, весело смеяться. Он ходил с партизанами по селу, и люди удивлялись его выдержке, тому, как он вел себя раньше. Гоманков видел, что им тоже радостно и приятно, что их односельчанин Гоманков, семью которого они знали только с хорошей стороны до войны, оказался и на войне достойным, преданным Родине. Вскоре после освобождения села Гоманков был включен в состав действующей Красной Армии и стал командовать ротой в одном из полков 1-го Белорусского фронта. Освобождал Белоруссию. На реке Проне был ранен, попал в госпиталь. После излечения сражался на 3-м Украинском фронте, командовал стрелковой ротой. Участвовал в форсировании Днестра. За это форсирование получил орден Красной Звезды. Участвовал в Яско-Кишиневской операции, где была окружена большая группировка фашистов. Потом форсировал Вислу и дошел до Германии.

– Хочется мне сказать о том, что в 1941 году, удаляясь от своей родной границы и когда находился в тылу фашистов, я постоянно помнил своих погибших друзей-пограничников и вот тех людей, женщин и детей, которых расстреливал на моих глазах фашистский летчик. Я всегда думал о том дне, когда за все эти злодеяния придется фашистам ответить. Я твердо верил в то, что им придется-таки за это отвечать.

...Слушая Гоманкова, я вспоминал свои фронтовые дороги и сказал Ивану Прокофьевичу, что тоже прошел эту тяжелую школу. И у меня тоже постоянно сохранялась вера, что мы вернемся сюда, в края, которые оставляли. Мы обязательно вернемся, и победа будет на нашей стороне. А когда начались наступательные бои и мы стали освобождать свою землю, как радостно стало на душе, что наши надежды сбылись.

– Ну а что вы чувствовали, когда вышли на границу, на ту линию, где застала вас война?

– Когда вернулись и увидели, вот он, заветный рубеж, от которого мы отходили и к которому потом так стремились, на душе было настоящее праздничное настроение, очень большое внутреннее волнение. Но, к сожалению, в то время не до праздников было. Бои продолжались, все произошло просто, по-фронтовому. Вышел я, конечно, со своей ротой не на том участке, где вел бой 22 июня 1941 года. Вышел в совсем другом месте, но тут тоже когда-то стояла застава. И, видно, бой здесь был такой же тяжелый, как и у нас. Все вокруг изрыто воронками, застава разрушена, живого места не осталось. Все искорежено. Я думал о тех, кто защищал эту землю в июне сорок первого. Вспоминал, как сам с друзьями своими отбивал фашистов, переправлявшихся через Неман. И вот я задумался и не сразу заметил, что рядом со мной стоит местный житель. Он тоже был без головного убора, и лицо его было печальным. Не здороваясь и не говоря, кто он, сказал: "Вон на том холме мы их схоронили. Ни один в живых не

остался. Все бились до последнего патрона. – А потом подал мне сверток и добавил: – Вот, сберег".

Я развернул сверток и увидел гербы, металлические гербы, которые были на пограничных столбах. Несколько этих гербов Советского Союза были в свертке. Многим, да что там многим, жизнью рисковал этот человек, когда свинчивал эти гербы со столбов! Если бы кто-то из фашистов увидел его за таким делом, расстреляли бы на месте. А он верил, что мы придем, что мы вернемся, и сохранил эти гербы.

Мы долго не задержались на границе, пошли вперед. Но я видел, как некоторые солдаты брали в руки землю, с волнением растирали ее, глядели радостно друг на друга. Они как бы говорили этой земле: вот, родная, мы пришли, мы тебя освободили! Этот рубеж дал нам прилив новых сил, как будто вдохнул в нас новую энергию, и пошли мы дальше, освобождать Польшу и Германию.

Запомнилось мне форсирование Одера. Ночь. Широкая река здесь, на чужбине, казалась особенно мрачной. Приказ был почти такой же, как приказ о форсировании других рек: "Любой ценой захватить плацдарм и удержать его до переправы главных сил батальона". Тихо спустили мы лодки и поплыли по черной воде. Я знал: достаточно малейшего шума, чтобы эта черная ровная поверхность реки превратилась в кипящий страшный котел. Но нам повезло. Мы достигли берега противника бесшумно. И сразу разорвали ночную тишину взрывами, а ночной мрак красным огнем наших гранат. Мы действовали удачно и захватили первую траншею сравнительно легко. Но я знал – это только начало! Даже захват траншеи – это еще только начало боя. И не ошибся. Фашисты понимали, что такое захват даже небольшого плацдарма. У них тоже был опыт! Они знали, что если уж русские вцепились в берег, то их трудно будет выбить. Ну и мы готовились к встрече. Не успели оглядеться, тут же во мраке ночи последовала сильнейшая артиллерийская обработка, и цепи гитлеровцев пошли в атаку. Мы отбили несколько атак. Поле боя освещали немецкими ракетами, которые захватили в траншее. На некоторое время наступила тишина. А потом вдруг опять сильнейший артиллерийский обстрел. Но когда мы осветили впереди лежащую местность ракетами, я не увидел атакующих цепей. Я понимал: фашисты зря тратят снаряды не будут и, когда взмыли вверх новые осветительные ракеты, увидел – ползут!

Мы подпустили фашистов поближе и огнем почти в упор отбили и эту атаку. На рассвете на нас пошли уже танки. Это дело серьезное! С танками бороться всегда тяжело. У нас было несколько противотанковых ружей. Особенно отличился бронебойщик Опарин. Он стрелял метко, попадал в танки, но пули не пробивали броню. И все же он изловчился. Когда танк вылез на бугор, Опарин ударил в днище, где броня потоньше, и пробил это днище. Танк остановился.

По этому танку начали бить и другие бронебойщики, и общими силами они его доконали. Выскочил из танка экипаж, но мы не дали

врагам уйти – побили. Танк остался на месте. Подбили и второй танк, и его экипаж тоже уничтожили. Я подумал, что надо бы взять патроны и оружие из этого танка, и сказал командиру взвода лейтенанту Жданову, чтобы он послал туда людей. Он послал командира отделения Туртаева. Опытный был этот командир отделения. Через некоторое время Туртаев взял из этого танка три автомата и патроны. Он сказал своим бойцам: "Передайте это все командиру, а я останусь здесь, в танке". Я послал к нему на помощь Царева, знал, что он умеет обращаться с орудием. И вот при очередной контратаке фашистов мы все ждали, что Царев и Туртаев ударят из пушки по наступающим немцам. Цель была уже рядом – атакующие танки фашистов подошли совсем близко, а орудие огонь что-то не открывало. Я уже подумал: не случилось ли чего-нибудь? Может быть, пушка оказалась неисправной? И вдруг, когда поравнялись танки с этим подбитым немецким танком, башня развернулась, и орудие начало бить в упор по фашистам. А пулемет немецкого танка стал бить по атакующей пехоте. Наши солдаты "ура!" закричали от радости, когда увидели эту сцену! Обнаружив, что в танке засели наши, фашисты двинули три самоходных орудия, и наши ребята затеяли с ними дуэль. Дав несколько выстрелов из пушки, ребята выскочили из танка и по воронкам и лощинам прибежали к нашей траншее.

"Ну и молодцы! – похвалил я их. – А теперь вставайте по местам. Контратака эта не последняя, сейчас еще полезут".

Во время очередной атаки фашистов меня ранило в ногу. Долго не могли остановить кровь. Тут жгут надо бы, а его под рукой не оказалось. Я говорю: "Перевязывайте бинтом, давайте, перетягивайте потуже".

Перевязали, и я продолжал руководить боем. За левый фланг уже не беспокоился. Там, смотрю, рота соседнего батальона переправилась. А вот на правом фланге наш сосед все никак не мог зацепиться за берег. Здесь, как говорится, у фашистов руки были развязаны. И они бросили с этой стороны восемь танков. Я уже видел их на опушке и попросил по рации, чтобы артиллеристы дали огоньку. А огня все не давали, артиллерия что-то молчала. Вдруг слышу гул самолетов. Оказывается, нам на помощь прислали штурмовики. Здорово они раздолбали эти танки.

Но танки не все сгорели, некоторые из них успели укрыться в лесу. Как только ушли самолеты, гитлеровцы все-таки двинулись в контратаку. Они знали, что надо сбивать нас, пока мы как следует не закрепились на берегу, пока сюда еще не переправились главные силы.

Слышу я, не совсем благополучно у меня на правом фланге: замолчал один, потом второй пулемет. Ну, я хоть и раненый, а побежал туда. Вижу еще на бегу: немцы уже близко к правому флангу подошли. Бежал я изо всех сил, чтобы успеть. И успел все-таки. Успел сюда и командир взвода Жданов. Мы сами легли за пулеметы вместо погибших пулеметчиков. И Царев тут со своим взводом подошел на выручку. Атака была отбита. Мы даже трофеи собрали – оружие тех

немцев, которые упали неподалеку от наших окопов, их патроны и гранаты. И снова начался артобстрел. Сил в роте совсем уже осталось мало, когда комбат попросил по радиации продержаться еще немного. Он сказал, что через пятнадцать минут батальон начнет переправу. И даже со дна окопов поднялись все раненые, в бинтах, в крови. Шестнадцать атак мы отбили за время пребывания на плацдарме, а вот эта, последняя, была, пожалуй, самой трудной. Немцы поняли, что это наши тоже последние силы, делали все, чтобы сблизиться и уничтожить нас в рукопашной.

Я видел: вот уже близко подплывают лодки с главными силами батальона, но если фашистам удастся нас смять и захватить эти траншеи, они отсюда, с хорошо подготовленных огневых позиций, конечно же, не дадут главным силам батальона высадиться. Надо было как-то сдержать натиск врага, надо было во что бы то ни стало помочь высадке батальона. Огнем мы уже сдержать, чувствую, не сможем. И вот ради этих нескольких минут, я понял, нужно атаковать. Не допустить немцев в траншею, остановить их, задержать рукопашным боем на подходе к окопам. И я крикнул: "Вперед, орлы-гвардейцы! За мной!" Сам выскочил из окопа и, стреляя из автомата, побежал навстречу фашистам. Солдаты кинулись за мной, и мы сшиблись в рукопашной схватке. Наши друзья из батальона видели это и, выпрыгивая из лодок, еще бредя по воде и карабкаясь на берег, кричали "ура!", чтобы хоть этим криком придать нам силы и запугать гитлеровцев. И этот крик нам помог! Немцы дрогнули и повернули назад! Побежали! И здесь я упал. Получил еще одно ранение. Роту повел вперед лейтенант Царев.

Как мне потом рассказывали, около меня остался один только Куприн, ординарец мой. Он смотрел на меня, окровавленного, и думал, что я убит. Около гвардейского значка на груди, у клапана кармана, гимнастерка вся была мокрая от крови. Куприн никак не решался расстегнуть этот карман и вынуть документы. Вынуть документы – это значит все. Это значит – человек погиб. Он приник к моей груди и стал слушать. И показалось ему, вернее, даже сквозь грохот боя он все же расслышал, что сердце мое бьется. Оказалось, пуля ударила в гвардейский значок, и это меня спасло. Она пробила комсомольский билет и неглубоко вошла в мое тело. Но все же я был дважды ранен, много потерял крови и лежал без сознания. Обнаружив признаки жизни, ординарец Куприн положил меня в лодку, переправил на другой берег и доставил в медсанбат. И только убедившись, что я выживу, он с этой радостной вестью вернулся в роту.

В медсанбате я все время думал о том, как там мои ребята, удержатся ли они на плацдарме? Ну, мне сказали, что главные силы переправились, и теперь я был уверен, что если уж мы, несколько человек, удержали плацдарм, то, конечно же, главные силы батальона, да уж, наверное, и полка теперь переправились и плацдарм удержат! И я не ошибся – плацдарм удержали. Через несколько дней в

дивизионной газете "За победу" была напечатана короткая заметка. Она у меня сохранилась. Вот почитайте, что в ней написано... – Гоманков достал из планшетки пожелтевший квадратик газеты, и я прочитал:

"Офицер Гоманков с приходом в роту отдавал все свои силы сколачиванию боевого подразделения. Иван Прокофьевич стремился превратить свою роту в несокрушимый бронированный кулак, о который разбились все контратаки врага. Он сделал ее острым кинжалом, способным пронзить любой оборонительный рубеж противника. Офицер Гоманков превратил свое подразделение в роту бесстрашных. И самым бесстрашным является он сам – командир роты".

Гоманков, следя за тем, как я читаю, смущенно сказал:

– Ну, вы понимаете, стиль, конечно, очень возвышенный, перестарался корреспондент. Наверное, тоже очень торопился.

А я читал дальше:

"На Одере немцы предпринимали атаки одну за другой, но все они разбивались о стойкость наших воинов. Сам Гоманков, дважды раненный, лег за пулемет и поливал свинцом обратившихся в бегство гитлеровцев".

Очень торопился вылечиться Гоманков в госпитале. Просил врача, чтобы выписал поскорее. А врач сердился: "Как с ума, говорит, все посходили. Выписывай и выписывай! Вам еще на костылях надо будет ходить. Не имею права я вас выписать!" И все же Гоманков добился. Пораньше его отпустили, и он догнал свою дивизию. Там ждали его хорошие вести. Командир дивизии полковник Даниил Кузьмич Шишков вручил ему орден Отечественной войны I степени за форсирование Одера, поздравил его с присвоением звания капитана и сказал:

– Давай принимай батальон!

– Я отказался, потому что, говорю, не могу я командовать батальоном.

– Да ты боевой командир, пойдет у тебя дело!

– Нет, говорю, образование у меня недостаточное. Он это понял по-своему и сказал:

– Ну, тогда в академию поедешь учиться! Тут я уж совсем замахал руками и говорю:

– Ни в какую академию я не поеду, что вы! Я с ротой такой боевой путь прошел. Я Берлин брать хочу!

Командир дивизии засмеялся и оставил меня в покое. Назначили меня в мою прежнюю дорогую мне роту. Мне показали лес, в котором находилась моя рота, и стал я пробираться к ней. Рвались снаряды, этот участок фашисты сильно обстреливали. Я шел по лесу и как-то не чувствовал себя защищенным, как раньше, в нашем русском лесу. Лес тут был весь расчищенный, словно прозрачный. Не лес, а парк какой-то. Уже начало темнеть, когда я добрался до траншеи своей роты. Солдаты узнали меня и очень обрадовались. А кто-то сказал:

– Мы же говорили, капитан обязательно придет и будет брать Берлин с нами вместе!

Прошел я в блиндаж к Цареву. Он уже был старшим лейтенантом:

– Здравствуй, Саша, здравствуй, дружище!

Мы обнялись, расцеловались трижды по-русски. Прибежали в блиндаж другие командиры взводов. Ну, конечно, как и полагается при встрече друзей, посидели мы, поужинали. Все говорили о том, что скоро Берлин брать будем. И вдруг Царев мне говорит, что он как парторг роты думает, что пора мне, командиру роты, вступать в партию. А я ответил, что давно собираюсь подать заявление. Еще когда Одер форсировали, думал: выполним задачу – и напишу. А вышло вот так – ранило меня. Ладно, уж буду брать Берлин комсомольцем. А возьмем Берлин – тогда и в партию буду вступать.

Новая задача, которую получила рота Гоманкова, была похожа на ту, которую недавно выполняли. Надо было форсировать Шпрее. Каждая река, каждая переправа имеет свои особенности. Здесь на берегах реки стояли дома, – это те же доты, из которых каждую секунду мог брызнуть губительный огонь. Надо было что-то придумать.

Я посоветовался с командирами взводов. Они сходились на том, что всей роте сразу переправляться, конечно, не следует. Можем не доплыть мы до того берега все, потому что срежут огнем из этих вот домов. Выход предложили такой: переправляться небольшими группами, пользуясь покровом ночи и дымом, который стлался по реке от горящих домов. Вот этим воспользоваться и мелкими группами туда переправиться. Накопить силы. А там уже ударить всей ротой. Так и было решено. Надо было кому-то переправиться первым. И я подумал, что хорошо бы, если бы первым пошел с группой Царев. Саша словно понял мои мысли, посмотрел на меня и сказал:

– Ну, что ж, бои завершающие особенно важные. Первую группу должен вести парторг, поведу я.

Он переправился с первой группой. А я-то знал, как важно скорей поддержать тех первых, которые на том берегу. Потому побыстрее с остатками роты переплыл Шпрее и присоединился к Цареву.

О том, как развивались дальше события, рассказала старая газетная вырезка, которую сохранил и достал из планшетки Гоманков. Это была заметка из той же дивизионной газеты "За победу":

"Немеркнувшей славой покрыла себя рота в недавних боях за Берлин. Гоманков со своими бойцами первыми переправились на западный берег Шпрее. Неподалеку находилось большое каменное здание. Немцы превратили его в сильный опорный пункт. Из него простреливалась вся река. Переправляться через Шпрее нашим подразделениям оказалось очень трудно. Иван Прокофьевич применил маневр. Рота обошла дом слева и с тыла. Устремилась на опорный пункт гитлеровцев. Вражеский гарнизон пал, рота капитана Гоманкова уничтожила двенадцать пушек, шесть станковых пулеметов и три миномета. Сто двадцать трупов – все, что осталось от вражеского

гарнизона. Плацдарм был завоеван, наши подразделения переправились через водный рубеж и устремились к центру Берлина".

Слушая рассказ Гоманкова, я радовался не только боевым успехам роты, не только тому, что они так умело били врага, мне было приятно, что вот этот человек, тот самый, который первым 22 июня 1941 года встретил фашистов на пограничной реке, именно этот человек одним из первых вступал в Берлин! Это было очень символично!

Гоманков тоже волновался, припоминая эти последние часы войны:

– Впереди уже был виден рейхстаг. Очень радостно стучало у меня сердце. Я кинулся к рейхстагу и позвал за собой своих бойцов, крича: "Вперед, гвардейцы, за мной!" И они дружно встали и побежали со мной через площадь, к рейхстагу. Но судьба была жестока. Не раз я был ранен в годы войны. Но здесь на последних шагах к рейхстагу, после того как я прошел такие трудные фронтовые дороги, быть раненым на последних метрах – было, конечно, очень обидно! Пулеметная очередь по ногам свалила меня на землю. Подбежал мой друг Царев, подбежал ординарец Куприн. Если бы я куда-то в другое место был ранен, может быть, я нашел бы в себе силы подняться, но обе ноги были перебиты пулями. Я попросил Царева: "Саша, принимай роту, штурмуй рейхстаг, обязательно возьми этот рейхстаг! Ну, давай поцелуемся. А Колю-ординарца оставь со мной".

И вот Коля донес меня до берега реки, переправил через реку и потом доставил в медсанбат. Ранение было тяжелое. Я то и дело терял сознание. Все время мне слышались шум боя, крики, и я сам выкрикивал какие-то команды. Однажды я услышал рядом знакомый голос Саши Царева. Он кричал: "Вперед, вперед на рейхстаг!" Я думал, что это я в бреду слышу. И вдруг увидел, что рядом лежит Царев. Он, оказывается, тоже был ранен. Случайно его положили рядом со мной. Саша то стонал, то выкрикивал команды. Он был без сознания. Ему становилось все хуже и хуже. Сколько дорог прошли мы вместе с ним! Сколько раз он выполнял самые трудные задания! Да хотя бы вот в этом самом последнем бою он как парторг повел первую группу переправляться через Шпрее. И когда я упал на площади, перед рейхстагом, именно он принял командование ротой и повел ее дальше, на рейхстаг. Очень трудно было видеть его мучения. Я забыл даже о своих ранах и о боли. Я понимал – Саша Царев, раненный в живот, может не вынести этого ранения. И было очень тяжело так вот рядом, близко, видеть и терять друга и не быть в состоянии чем-то ему помочь.

Гоманков замолчал и как-то буднично, уже не так возбужденно, как говорил о бое и о своем друге, сказал:

– В Познани, в госпитале, куда меня привезли, я прочитал в газете "Правда", что за мужество и отвагу, проявленные в битве за Берлин, Указом Президиума Верховного Совета мне присвоено звание Героя Советского Союза. Сначала я даже не понял: – "За что?" Ничего вроде я особенно героического не совершил. Было много боев, много раз мне

приходилось водить в атаку роту и первым переправляться через реки. Ну, потом я, конечно, понял, что идти первым на рейхстаг, вести бойцов в этот последний бой – дело не обычное. Через Шпрее удалось переправиться немногим, и за последние метры приходилось платить своей кровью не одному командиру роты. Я продвинулся по этой площади под сильнейшим огнем всего несколько сот метров. Потом эту эстафету подхватил Саша Царев и тоже провел роту несколько десятков метров. Конечно же, это были труднейшие из трудных минуты боя. И чтоб решиться на это в конце войны, когда оставалось до победы несколько часов, нужны были большие душевные силы.

Гремели победные залпы. Берлин был взят. Война кончилась. Кончилась для всех. А для Гоманкова она продолжалась еще год, потому что он год лежал в госпитале, и война была в его теле. Она все еще пыталась убить его. Целый год боролся за свою жизнь и наконец победил в этом бою капитан Гоманков. Только в апреле 1946 года выписался он из госпиталя. Правда, одна нога не гнулась, и ходил теперь Гоманков с палочкой. С радостью излечения в госпитале пришла и еще одна большая радость. Имя ее было Марийка. Она была медсестрой, которая с первого и до последнего дня не отходила от его койки. Она провожала его и в Кремль за получением Золотой Звезды и первой встретила после возвращения из Кремля и поздравила. С тех пор и по сей день, всю жизнь Мария Яковлевна рядом с Иваном Прокофьевичем.

Костер, у которого мы сидели, догорал, дыма от него теперь не было, только теплый воздух дрожал, струясь над бледно-розовыми углями. Мы помолчали, подбросили веток, дым опять за клубился и потянулся голубоватой струей к небу. И я в нашей беседе, словно "веточек" подбросил, спросил:

– А как дальше жизнь сложилась?

Иван Прокофьевич продолжил рассказ не сразу. Помолчал. Видно, не все было легко и просто в послевоенной жизни.

– Выписался я из госпиталя инвалидом второй группы. Отдыхал недолго. Надо как-то в жизни устраиваться. До войны я выбрал профессию пограничника, окончил училище. Теперь инвалид, образование мое военное применить не могу. Надо приобретать новую специальность. Пошел учиться в Высшую школу профдвижения ВЦСПС. Поселился в Москве. Однажды пошли с Марией в Парк культуры имени Горького. Там была выставка, посвященная победе, и выставка трофейного оружия. Ну, ходим, смотрим, и вдруг вижу вроде бы знакомый мундир гитлеровского генерала.

– Вам приходилось с гитлеровским генералом встречаться?! Но мундиры генералов, как любая военная форма вообще, похожи друг на друга. Одинаковые.

Гоманков усмехнулся:

– Мундир, о котором я говорю, был особенный, с ним связана целая история. Но не будучи еще уверенным, что это был именно тот мундир,

я подошел поближе и, к своему удивлению, прочитал внизу надпись: "Взят ротой Гоманкова". Марийка стала просить, чтобы я рассказал, как это случилось. И я рассказал ей и вам сейчас расскажу любопытный случай.

Только перешли мы старую границу, как в одном селе за небольшой речушкой нас встретила умело организованная оборона противника. Раз попытались, другой раз попытались, не могли взять это село. Ну, потом разобрались в обстановке, в местности, и решили: сковать противника одним взводом с фронта, а взвод лейтенанта Царева пустить в обход. Так и сделали. Первым ворвался в село сержант Туртаев. За ним потянулись и остальные. В одном доме особенно отчаянно отбивались гитлеровцы. И когда мы туда ворвались, то увидели убитого фашистского генерала. Он был вот в этом мундире. Видно, хотел показать свое рыцарство, надел все свои регалии в последний бой. Солдаты окружили убитого фашистского генерала, рассматривали его и его награды. Кто-то сказал: "Знатный гусь!" А я, тоже понимая, что он какой-то большой начальник, отправил этот мундир и документы генерала в штаб полка. И вот здесь, на выставке в Парке имени Горького вдруг такая встреча! Оказалось, что этот мундир принадлежал генералу пограничных войск фашистской Германии.

А я опять вспомнил 22 июня 1941 года, когда этот гитлеровский генерал отправлял через границу войска и радовался, наверное, глядя, как малочисленных советских пограничников окружали и расстреливали его соотечественники. Ан вот как обернулось: пограничник Гоманков, защищавший 22 июня границу, победил гитлеровскую армию и генерала-пограничника фашистского. Пришел в Берлин и покарал врага за бандитское вторжение!

У Ивана Прокофьевича сохранился ордер на квартиру, который он получил тогда, в 1941 году, прибыв в город Гродно. Мы решили разыскать этот дом и посмотреть: кто сегодня живет в квартире? Искали мы не долго. Сели в такси, попросили шофера отвезти нас на улицу Первого Мая. Эта улица и сейчас так называется. Когда мы вышли из машины около нужного нам дома, Гоманков с волнением смотрел на него, на соседние дома, на улицу.

– Очень все изменилось? – спросил я.

– Нет, дом не изменился. Только постарел так же, как я, вот видите, на нем есть следы от пуль и осколков снарядов. А вот по соседству новые дома, современные, тогда их не было.

Мы вошли в подъезд и нажали кнопку звонка квартиры № 1. Открыла дверь женщина средних лет. Мы попросили разрешения войти, и она нас пригласила в комнаты. Звали ее Янина Иосифовна Макарчик. Я коротко объяснил ей, зачем мы сюда пришли, и спросил: кто она, где работает, кто ее муж? Она рассказала:

– Мужа моего зовут Иван Иванович. Он маляр. А я работаю в детском саду рядом с нашим домом. У нас трое детей.

Пока Янина Иосифовна рассказывала, Иван Прокофьевич, не торопясь, заглянул в соседнюю комнату. Я спросил его:

– Ну, как, та самая?

– Все так же. Только обои другие. Вот этих цветочков на стенах не было. Я поставил чемодан вот сюда в угол, переночевал одну ночь, а на следующий день меня по тревоге вызвали на границу.

– Вот видите, Янина Иосифовна, после стольких трудных дорог, после такой долгой войны, Иван Прокофьевич остался жив, и, конечно же, ему было интересно посмотреть на свою квартиру, поэтому мы вас и побеспокоили.

– Ну, какое же тут беспокойство. Я вас понимаю, такой человек, такую трудную жизнь прошел!

Янине Иосифовне надо было идти на работу. Мы пошли вместе с ней. Дойдя до детского садика, она сказала:

– Может быть, зайдете посмотреть наших детишек?

Мы зашли. Веселые шумливые карапузы играли в песочницах, качались на качелях, бегали по дорожкам. Гоманков смотрел на них и думал о чем-то своем. Я спросил:

– О чем вы сейчас думаете, Иван Прокофьевич?

– Глядя на детей, я подумал, что они прекрасны и чем-то похожи друг на друга. Вы знаете, вот в том, далеком теперь сорок первом году, было такое же голубое чистое небо над городом. И вот так же играли дети: смеялись и бегали. Где они сейчас? Многие ли из них остались живы? Ведь я же видел, как тот фашистский летчик расстреливал на дороге вот таких маленьких детей и вот таких женщин-матерей, как Янина Иосифовна. На всю жизнь останется в моей памяти эта страшная, ужасная картина! Вот вы спрашивали меня: в чем источники мужества, где брали силы для подвигов воины на фронте? Конечно, для подвига необходимо много хороших качеств. Но, знаете, для меня лично та страшная сцена расстрела мирных жителей с фашистского самолета стала толчком к действию, я считал нужным вырвать оружие у этих зверей-фашистов, любое оружие, – какое бы там ни было: автоматы, орудие, самолет у этого варвара-летчика! То есть я стремился к тому, чтобы обезоружить фашистов, лишить их возможности убивать людей.

...Вот как полезно посещать места боев и вспоминать дела минувших дней вместе с участниками этих дел.

Карпов, В. В. О войне после войны / В. В. Карпов // Избранные произведения : в 3 т. / В. В. Карпов. — Москва, 1990. — Т. 3 : Взять живым! : роман ; Последнее задание : повесть ; Рассказы ; О войне после войны. — С. 695—722.